

Переплетающиеся между собой топосы автора — рассказчика — героя (Гоголя, горохового панича, страшного колдуна) ставят под серьезное сомнение возможность одномерной оценки их роли в создании текста. В топос автора втягивается одновременно и комическое освещение сочинительства (вечно попадающий впросак сказитель, которого «много остряков и из московского народу не могло понять» [28, т. I, с. 195]), и представление о сочинительстве как нечистой силе, дьявольском даре (ср. в «Пропавшей грамоте»: «Нашего запорожца раздобар взял страшный. Дед и еще другой прилепившийся к ним гуляка подумали уже, *не бес ли засел в него*. Откуда что набиралось. *Истории и присказки такие диковинные*» [28, т. I, с. 183])¹. Подобное представление о сочинительстве, о способности создания литературного текста (шире — произведения искусства) как даре одновременно божественном и дьявольском приобретает впоследствии у Гоголя черты трагической антиномии (в «Портрете», «Авторской исповеди»). Но в «Вечерах» эта антиномия не носит еще однозначно трагического характера, осмысляясь скорее в комическом ключе, в духе трансцендентальной буффонады — сродни романтической иронии.

Еще сложнее складываются отношения между автором, издателем повестей и вторым рассказчиком — дьячком Фомой Григорьевичем. В этом смысле особый интерес представляет предисловие ко второй редакции «Вечера накануне Ивана Купалы», создающее особый игровой контекст, который должен запутать и мистифицировать читателя (что и произошло на самом деле). Казалось бы, предисловие это, появившееся в первой книжке «Вечеров», должно было объяснить и оправдать те существенные изменения, которые были внесены в текст повести по сравнению с ее первоначальным журнальным вариантом. Соответственно «в сучьем москале», выманившем у Фомы Григорьевича повесть и издавшем ее в искаженном виде, легко усматривался Свиныин, издатель «Отечественных записок», напечатавший в своем журнале «Бисаврюка...». Такая версия идеально согласовывалась и с репутацией П. П. Свиныина как беспринципного издателя, и с историей их испортившихся отношений с Гоголем [31]. Прочтение это было подкреплено и реакцией современников. «Пасичник, я слышал, — писал О. Сомов, — человек всегда готовый высказать самые резкие истины... Он, пожалуй, в состоянии повторить г. Полевому то, что уже сказал одному из его собратий-журналистов в предисловии своем ко второй повести „Вечеров на хуторе“» [32, с. 739]. Такое же прочтение закрепилось и в комментариях к «Вечерам» (см., напр., [28, т. I, с. 522]).

Между тем замысел завуалированного выпада против Свиныина в контексте цикла совершенно трансформировался, приобретя новые и дополнительные значения. С одной стороны, если признать в господине, выманившем историю у Фомы Григорьевича, Свиныина, сам Гоголь немедленно становится прототипом Фомы Григорьевича. Тем самым грань между рассказчиком и автором размывается. С другой стороны, в «сучьем москале» отчетливо узнаются и собственно гоголевские черты. И в самом определении «писакки они — не писакки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках. Нахватают, попросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжки...» [28, т. I, с. 137] просвечивает поведенческий мотив Гоголя, обращавшегося к матери и родным с просьбой узнавать и сообщать ему анекдоты из украинской жизни [28, т. X, с. 141]. Примечательно, что и слова «накрадут всякой всячины» представляют собой прямую отсылку к названию первой записной книжки Гоголя, куда он заносил собранный им подготовительный материал к своим произведениям.

Таким образом, выпад против беспринципного издателя сочетается с признанием самого себя «вралем и вором», выдающим в свет *не свои истории*. Но и эта позиция тут же приходит в новое противоречие с намерением уже в этот раз (т. е. в первой книжке «Вечеров», в отличие от журнального варианта) рассказать истину. Казалось бы, это намерение подчеркивает и подзаголовок

¹ Здесь и далее курсив наш. — Е. Д.